

# АВТОР И ПОЭЗИЯ

С.А. Королев

## ПОЭЗИЯ ВЛАСТИ: СТИХОСЛОЖЕНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОД

**Аннотация:** в статье рассматривается своеобразный феномен «поэзии власти» в России/СССР/России, иными словами, причины, формы и следствия странной приверженности людей власти к поэзии, к ремеслу стихосложения. Автор касается стихотворного творчества Сталина, тяги к поэтическому творчеству Троцкого, роли стихосложения в интеллектуальном сегменте партийной элиты, в среде консультантов и спичрайтеров первых лиц КПСС и советского государства. В поле зрения оказывается творчество ряда крупных государственных деятелей советского времени, от Евгения Примакова и Евгения Сабурова до Анатолия Лукьянова. «Кейсу Лукьянова», который был вполне состоявшимся и профессиональным поэтом, в статье уделяется особое внимание.

В работе также рассматривается эволюция стихосложения как социокультурного кода от Пушкина и декабристов до позднего СССР и нынешних времен так называемого гламура, гламуризации культуры. В заключение автор констатирует, что в современной России сложился тип власти, который в состоянии обойтись и обходится без поэзии.

**Ключевые слова:** филология, поэзия, власть, социокультурный код, разночинцы, невротизация, Сталин, Троцкий, Андропов, Лукьянов.

Обозначенная в названии этого эссе тема впервые заинтересовала меня лет двадцать назад, когда в постсоветском (если исходить из хронологии), но абсолютно советском (по сути) книжном магазине на улице Горького я купил книжку Анатолия Лукьянова «Стихи из тюрьмы»<sup>1</sup>. Художественные достоинства или недостатки стихотворных произведений бывшего председателя Верховного Совета СССР меня не особенно интересовали. Любопытен был сам феномен совмещения в одном лице крупного партийного и государственного функционера (в какой-то момент — второго лица государства) — и не самодельного, а настоящего, издаваемого поэта. Любопытен он был не только сам по себе, но и в контексте длительной традиции погружения в специфический творческий «бульон» людей власти, от амбициозных революционеров, циников и романтиков, только стремящихся к этой власти (и в ряде случаев добивавшихся ее), до людей, десятилетиями пребывающих на партийно-государственных высотах, контролирующих властные вертикали и, казалось бы, совершенно обюрократившихся и забронзовевших.

Необычен был и тот факт, что стихи, составившие книжку, были написаны одним из самых влиятельных, в недавнем прошлом, политиков страны в тюрьме, где он находился по «делу ГКЧП».

Размышления над тем, является ли «казус Лукьянова» чем-то необычным в истории революционеров и властолюбцев XX в., привели меня к убеждению, что нет, скорее всего, не является. Ибо если мы даже бегло перелистаем биографии лидеров послеоктябрьской, то есть большевистской, коммунистической России, то обнаружим поразительную тягу к ремеслу стихосложения.

### *Стихосложение как мания власти*

Действительно, Сталин в юности, в 15-16 лет, сочинял стихи весьма романтического свойства<sup>2</sup>:

*Стремится ввысь душа поэта,  
И сердце бьется неспроста:  
Я знаю, что надежда эта  
Благословенна и чиста!*

И все в таком роде. Говорят, юный Сосо Джугашвили намеревался даже перевести на русский язык «Витязя в тигровой шкуре», что, впрочем, ему было бы крайне сложно сделать в силу недостаточного знания русского языка (причина, которая заставила отложить на год его по-

<sup>1</sup> Лукьянов А. Стихи из тюрьмы. М.: Палей, 1992.

<sup>2</sup> Сталин И.В. Стихотворения (1895–1896 гг.) // Сталин И.В. Сочинения. Т. 17. Тверь: Научно-издательская компания «Северная корона», 2004. С. 1-6.

ступление в Горийское православное духовное училище). Позднее, уже сделавшись вождем, Сталин мог с чувством продекламировать соратникам по политбюро «Кавказ подо мною...» и т.д. Некоторые даже утверждают, что Сталин был (или мог стать) неплохим поэтом. Не берусь судить об этом, поскольку стихи молодого Сталина были написаны и опубликованы на грузинском языке, и неспециалисту очень трудно разобраться, что является достижением и недостатком автора, а что — переводчика<sup>3</sup>.

Троцкий в детские годы писал весьма беспомощные, по его собственным позднейшим оценкам, стихи, которые любящие родители заставляли его читать при гостях<sup>4</sup>. Позже, уже в гимназии, он был издателем и автором рукописного журнала, со стихотворными материалами, большую часть которых он писал сам.

Держинский тоже не чужд был поэтической музе; есть свидетельства того, что он, в бытность свою в ссылке, читал товарищам по несчастью свою поэму на польском языке. И даже Ленин, оказавшись в Сибири, пытался сочинить нечто поэтическое: «В Шуше, у подножья Саяна...» — дальше, впрочем, дело не пошло.

Брежнев в узком кругу мог взобраться на стул и декламировать какие-то свои вирши (как выразился один из его коллег по политбюро ЦК КПСС, «когда выпьет, взгромоздится на стул и декламацию какою-то несет. Не Маяковского там и не Есенина, а какой-то свой каламбур»). Известный советский дипломат Анатолий Ковалев вспоминал, что однажды Леонид Ильич, забравшись по обыкновению на стул, стал читать стихи Мережковского о Шакьямуни, которые помнил едва ли не с детства<sup>5</sup>.

Не чужд был подобной слабости и Андропов (я, конечно, о стихах, а не о готовности забраться на стул). Первый из его стихотворных текстов, ставших известными публике, где-то на рубеже 80-90-х был обнародован академиком Г.А. Арбатовым. Затем стихи бывшего генсека стали появляться в периодической печати, в основном, одни и те же три-четыре стихотворения. Нечто лирическое:

*И пусть смеются над поэтом,  
И пусть завидуют вдвойне  
За то, что я пишу сонеты  
Своей, а не чужой жене.*

И совсем у другом ключе, почти философское:  
*Мы бrenны в этом мире  
под луной,  
Жизнь — только миг,*

<sup>3</sup> На русском языке эти стихи были опубликованы только в 1939 г., в год 50-летнего юбилея Сталина.

<sup>4</sup> Троцкий Л. Моя жизнь. М.: Панорама, 1991. С. 57.

<sup>5</sup> Новое время. 1993. № 37. С. 45, а также: Ковалев А.Г. Дипломатические новеллы. М., 1993.

*Небытие — навеки,  
Кружится во Вселенной<sup>6</sup>.*

Г.Х. Шахназаров рассказывает в своих воспоминаниях, что в июне 1964 г. он от имени группы консультантов написал Андропову стихотворные поздравления с 50-летием. Андропов прислал ответное послание.

*Друзья мои, стихотворенье —  
Ваш коллективный мадригал —  
Я прочитал не без волнения  
И после целый день вздыхал:  
Сколь дивен мир! И как таланты  
Растут и множатся у нас,  
Теперь, смотри, и консультанты,  
Оставив книги-фолианты,  
Толпою «чешут» на Парнас.  
И я дрожащими руками  
Схватил стило в минуты те,  
Чтобы ответить Вам стихами  
И зацепиться вместе с Вами  
На той парнасской высоте<sup>7</sup>.*

Все это, если судить по серьезному счету, конечно же, кажется несколько вторичным. Хотя в целом в стихотворных опусах Андропова ощущается определенная талантливость и, более того, порой проявляется некоторая самоирония автора.

И даже Черненко, которого принято считать образцом сухого, черствого аппаратчика, воплощением посредственности, по свидетельству его помощника, держал под подушкой томик Есенина<sup>8</sup>.

Наконец, из воспоминаний многочисленных помощников, консультантов, спичрайтеров, референтов первых лиц КПСС мы узнаем о том, что они общались между собой в стихотворной форме, иронично, полусерьезно — и тем не менее. Эта когорта, обслуживавшая Хрущева, Брежнева, Андропова, а на излета эпохи и Горбачева, отчаянно много стихоплетствовала, бомбардируя друг друга шутивными (чаще всего) стихотворными текстиками.

Если мы возьмем ряд политических деятелей несколько меньше масштаба, но также не столько уж сильно удаленного от вождей, то мы увидим, что не чужд стихосложению был Геннадий Зюганов («Писал стихи в школе и в армии выпускал

<sup>6</sup> Последнее четверостишие заставляет вспомнить знаменитое: «Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг — за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь» (Леонид Дербенев, песня из кинофильма «Земля Санникова», 1973 г.).

<sup>7</sup> Шахназаров Г.Х. С вождями и без них. М.: Вагриус, 2001.

<sup>8</sup> Печенев В.А. Горбачев: к вершине власти. М.: Господин народ; Феномен человека, 1991. С. 78.

стенгазету полностью в стихах)), маршал Дмитрий Язов, бывший министр обороны<sup>9</sup>, бывший вице-президент СССР Геннадий Янаев (последние двое удивительным образом сошлись в ГКЧП), экс-вице-премьер Борис Немцов и др.

И, возвращаясь к началу нашего очерка, добавим ко всем вышеперечисленным Анатолия Лукьянова, бывшего председателя Верховного Совета СССР, человека, выросшего из когорты помощников в лидеры, *вышедшего*, как говорил Горький, не просто в люди, а в *люди власти* самого первого ряда.

Что за странный феномен? Как его можно объяснить? В тоталитарной, раздавленной властью стране такие поэтические фигуры обнаруживаются на самых верхних этажах власти. Как хотите, есть в этом что-то странное, противоестественное, шокирующее — нечто такое, что заставляет вспомнить фразу А. Карпентьера: «“To be or not to be” в борделе».

Возникает соблазн выстроить некую модель «поэтического тоталитаризма», скажем, «от Сталина до Лукьянова». Увы, попытка втиснуть приведенный выше фактологический ряд в подобную схему была бы поспешной и искусственной. Ибо, подобно тому, как власть (или, если хотите, Власть) сегодня и десять, двадцать, семьдесят, сто лет назад была различной властью (да, и сто лет назад, поскольку созданная Лениным партия «нового типа» была по своему предназначению структурой власти), так и «поэзия власти», в самом прямом, неметафорическом смысле этих слов сегодня иная, чем во времена странствующего революционера Сосо Джугашвили, экономиста Н. Ильина или даже поэта Анатолия Осенева.

### **Востребованность социокультурного кода**

Да, втиснуть всех в эту схему, в одну матрицу не получится. Ибо все перечисленные примеры, как бы говорящие о тотальной и неистребимой приверженности власть предержащих к поэтическому творчеству в той иной форме — собственному, чужому ли, связаны с различной внутренней мотивацией, с преломлением и своеобразными конstellляциями различных внешних обстоятельств, осуществлялись в различных социокультурных контекстах и едва ли могут быть сведены к какому-то общему знаменателю.

Для Сталина, как представляется, поэзия была сферой, где реализовывалось его честолюбие, жажда славы, успеха, проявлялась некая внутренняя энергетика. Незадолго до поэтического дебюта Сталин *первым* в классе окончил Горькийское православное духовное училище, имея почти по всем предметам оценку «отлично», и затем был зачислен в православную Тифлисскую в духовную семинарию, по

тем временам, весьма престижное учебное заведение. Иными словами, он сумел воспользоваться тем, что сейчас принято называть социальным лифтом. И поэзия, самоутверждение, триумф в этой сфере могла бы стать одним из тросов, которые тянут это социальный лифт вверх.

Не реализовавшись, в силу каких-то, не вполне ясных до сего дня причин, в этой, поэтической, сфере, эти энергии и это честолюбие перетекли, трансформировались в энергию революции и, позже, борьбы за власть. Это, разумеется, не значит, что в процессе борьбы за установление режима личной власти Сталин сублимировал некие творческие, поэтические импульсы; это значит, скорее, что некоторые характеристики личности и ментальности Сталина проявлялись как в сфере поэтической, так и в сфере политической. И, скорее всего, существует же некая общность умонастроений поэта-романтика (каковым Сталин, несомненно, был в свои 15-16 лет) и революционера, борца за справедливость, против тирании, экспроприатора, организатора «экссов», в конце концов.

Поэзия — революция — гражданская война — власть. А потом — власть абсолютная. И на этом витке истории, когда власть становится абсолютной, мы обнаруживаем товарища Сталина, в прошлом юного поэта-романтика, с красным карандашом в руке правящего слова гимна Советского Союза, написанные поэтами Сергеем Михалковым и Габриэлем Эль-Регистаном. Круг замыкается таким вот своеобразным образом. Сталин становится не поэтом номер один, но суперредактором, стоящим над всеми поэтами страны. Еще раз: не только цензором, что само собой разумеется, — а реальным, действующим редактором. Но это уже качественно иная ситуация, и не только потому, что поэт превращается в редактора, а потому что писательство вообще и стихосложение, в частности, превращаются из кода социокультурного в код преимущественно политический. Поэзия перестает быть языком общения внутри какого-либо сегмента социума и корпорации; она становится выражением лояльности или нелояльности *власти*. Причем в этой ситуации не разделяется нелояльность поэзии как продукта творчества, реальная или гипотетическая, и нелояльность поэта. Весьма своеобразный общественно-политический и литературный транзит.

Стихосложение не только перестает быть средством идентификации индивида со средой, с неким сегментом социума, но даже одним из кодов, составляющих стилистику поведения, обеспечивающего физическое выживание. Иными словами, прежде чем вождь становится редактором стихов, и как бы главных стихов страны, гимна, он становится *редактором жизни* тех, кто эти стихи производит.

Что касается юного Льва Бронштейна, впоследствии Троцкого<sup>10</sup>, то для него поэтические опыты были, скорее,

<sup>9</sup> «Он мечтал стать поэтом. Стихи, конечно, остались с ним на всю жизнь — его пристрастием, глубоким увлечением, его отдушиной». — Выхристюк З., Куджева Е. Уроки жизни маршала Язова // [http://www.blago-mh.ru/issues/05/09\\_yazov.php](http://www.blago-mh.ru/issues/05/09_yazov.php).

<sup>10</sup> В автобиографической книге «Моя жизнь» Троцкий, рассказывая о своих детских годах, иногда говорит о себе в третьем лице, обозначая себя буквой «Б.»: Бронштейн.

инструментом самоистязания, причиной душевных терзаний, самоунижений и разочарований и, в конечном счете, школой самовоспитания и выработки жестких требований в отношении себя. «Я писал стихи, беспомощные строчки, которые изобличали, может быть раннюю, любовь к слову, но наверняка не предвещали поэтического развития в будущем. О моих стихах знала старшая сестра, через сестру — мать, а через посредство матери — отец. От меня требовали, чтоб я читал свои стихи при гостях. Это было мучительно стыдно. Я отказывался. Меня уговаривали, сперва ласково, потом с раздражением, наконец, с угрозами. Я нередко убегал. Но старшие умели настоять на своем. С бьющимся сердцем, со слезами на глазах я читал свои стихи, стыдясь заимствованных строк или плохих рифм»<sup>11</sup>.

Во втором классе реального училища Троцкий с одноклассниками *затеяли* рукописный журнал, в котором большинство материалов, в том числе, рассказов и стихов, принадлежали ему. Троцкий даже написал — в стихах — программную статью на тему того, что второй класс реального училища святого Павла вносит свою каплю в океан литературы. Это уже не вынужденное, вымученное, почти насильственное приобщение к социокультурному коду иных социальных страт, а стремление к творчеству.

Поэзия в ситуации Троцкого — это мера, одна из мер осознания собственных возможностей, средство самопознания. Но, похоже, никак не обнаружение некоего бунтарского, романтического, протестного потенциала.

Но если мы рассмотрим ситуацию «Троцкий — поэзия» не в личностном плане, а как некую эманацию социальности, то нам придется предположить, что за мучениями и терзаниями маленького Б. стояло стремление его родителей (находящихся за рамками привилегированного дворянского сословия, хотя и не в черте оседлости) дать ребенку доступ к имеющим хождение и вес в обществе социокультурным кодам, к знакам идентификации *тех-кто-наверху*,

В несколько более позднем возрасте стихосложение становится для Троцкого не родом недуга, который причиняет страдания, а средством самовыражения и самоутверждения, связанным с перспективой использовать поэзию как гипотетический механизм самоидентификации и позиционирования в том сегменте социального пространства, который казался ему привлекательным и в котором он видел себя в будущем. Он написал об этом в автобиографии: «Любовь к слову сопровождала меня с ранних лет, то ослабевая, то нарастая, а вообще несомненно укрепляясь. Писатели, журналисты, артисты оставались для меня самым привлекательным миром, в который доступ открыт только самым избранным»<sup>12</sup>.

Набор социокультурных кодов юного Льва Bronштейна вырабатывался именно применительно к этой среде, интеллектуально-творческо-артистической.

В той же среде, где де-факто продолжился жизненный путь Троцкого, *этот* социокультурный код остался не востребуемым. И стихосложение было отринуто, и как профессия, и как способ самовыражения, и как социокультурный код.

А потом Троцкий — подобно Сталину, но существенно раньше — становится не только *человеком власти*, но и жестким и непререкаемым литературным критиком, скорее даже — оценщиком, который определяет ценность и талант самых крупных поэтов-современников, порой несколько прямолинейно, в духе классовости и радения за интересы пролетариата, порой весьма пронизательно<sup>13</sup>. Критиком, мнение которого категорично и императивно (хотя конечно, не в такой мере категорично, как позже мнение Сталина). Причем Троцкий выступает жестким критиком, и пребывая на вершинах власти, будучи вторым человеком в партии после Ленина, и продолжает оставаться им, оказавшись отстраненным от власти, изгнанным, преследуемым, кочующим по миру эмигрантом (см. очерк о Д. Бедном<sup>14</sup>). И здесь, опять-таки аналогично ситуации Сталина, поэтическое становится политическим, отправной точкой и поводом для разоблачения Сталина и его режима, *политическим* кодом.

Обратная трансформация, постепенное превращение поэзии, стихосложения из политического, идеологического кода в код социокультурный, начинает осуществляться в послесталинский период. И трансформация эта происходит не только в толще советского общества, но и в элитарных сегментах, где обретаются те, кого я называю *людьми-у-власти*.

Это хорошо видно на примере такой узкой и специфической группы, как консультанты, помощники, спичрайтеры советских партийных лидеров (60-е, 70-е, 80-е гг. XX в.). Для команды консультантов стихосложение было неким социокультурным кодом, который выделял их из массы хуже образованных, в значительной своей части провинциальных партийных работников, взятых с периферии в аппарат ЦК ПСС, от серой партийной номенклатуры. Это был *внутрикорпоративный* код. Были и другие коды — ученые степени, знание иностранных языков, «большой» теннис, наконец.

<sup>13</sup> Так, в дискуссии с Бухариным о Есенине он весьма афористично сформулировал свое мнение о том, почему поэт покончил с собой: «Есенин — интимен, нежен, лиричен. Революция — публична, эпична, катастрофична». (И примкнувший к ним Шепилов. М.: Звонница-МГ, 1998. С. 178).

<sup>14</sup> Троцкий Л. О Демьяне Бедном (Некрологические размышления) // Портреты революционеров. М.: Московский рабочий, 1991. С. 261-264.

<sup>11</sup> Троцкий Л. Моя жизнь. М.: Панорама, 1991. С. 57.

<sup>12</sup> Там же. С. 80.

Хотя, конечно, главное, что отличало «высоколобую» партийную элиту от массы партийных аппаратчиков, было умение *писать*, писать в самом широком смысле слова, создавать тексты, которые призван был озвучить *Хозяин*. Эти тексты должны были соответствовать определенным стандартам качества и при том не содержать идеологических и политических ошибок.

Это избранничество, вполне, кстати, осознаваемое, вполне прочитывается в многочисленных мемуарах консультантов, от Бурлацкого до Шахназарова.

Собственно, если быть точным, социокультурным кодом является стиль общения в целом (включая, кстати, язык), модель поведения, в которых присутствуют некоторые доминанты. Но для простоты изложения мы говорим: стихосложение как социокультурный код, подразумевая эти доминанты и до известной степени стирая различия между целым и существующими в рамках целого доминантными позициями.

Если же мы попытаемся расширить исторические границы нашего анализа и сравним *консультантов*, представителей этого крайне узкого слоя партийной *интеллектуальной* элиты, например, с декабристами, которые также почти поголовно были поэтами или, во всяком случае, баловались стихосложением<sup>15</sup>, то мы сможем констатировать, что и тогда, в первой четверти XIX в., это тоже был социокультурный код. Но код, дифференцирующий не элитарный слой внутри *корпорации* от людей, составляющих основную ее массу, ее «тело», а некая прослойка, избранный слой внутри *сословия*. Ситуация сходная, но никак не идентичная.

### Ретрансляция кода

Хотя более внимательное изучение вопроса возможно, подвигнет нас к иному выводу. А именно, нам придется констатировать, что стихосложение, которое наряду с обучением иностранным языкам, танцам, музыке, верховой езде, владению оружием (фехтование и стрельба из пистолета) было непременной частью образования дворянских отпрысков, являлось одновременно кодом не столько *внутрисословным*, сколько *интерсословным*, дифференцирующим привилегированное сословие от всех прочих.

Ибо если писали стихи декабристы, не самые заурядные люди своего времени, если писал их в тусклую эпоху «после декабристов» загадочный, почти демонический Лермонтов — то занимался сочинительством и Мартынов и десятки тысяч подобных мартыновых. Причем критерии оценки

этого творчества внутри среды, где оно осуществлялось, были весьма субъективными, расплывчатыми и социально (а отнюдь не только не эстетически) окрашенными. Напомню отзыв одного из сослуживцев о Лермонтове: «Препустой малый, плохой офицер и поэт неважный»<sup>16</sup>.

А вот дворян стихов не писала, ломовые извозчики и половые в трактирах тоже, и купцы стихов не писали, не говоря уже о крестьянах-землепашцах. Не писали их мещане типа воспетого А.Н. Островским Бальзамина. Я имею в виду не того «культурного мещанина», которого, по словам Троцкого, представлял в литературе Горький, а *докультурного* мещанина, мещанина иных поколений и иного уровня образования.

Но ни люди пушкинского круга, ни декабристы, многие из которых также были друзьями и знакомцами Александра Сергеевича, не мечтали *стать поэтами* — поэтами не в смысле приверженности к поэтическому творчеству как к роду занятий или способу самоутверждения, а в смысле *жизненного пути и профессии*. Когда поэзия, стихосложение становятся основным занятием в жизни и главным источником средств к существованию. В этом смысле в России, по крайней мере, до середины XIX столетия, был, видимо, единственный поэт, которого можно назвать профессиональным, — Пушкин Александр Сергеевич. По крайней мере, половину своей сознательной жизни нигде на службе не состоявший и существовавший, в очень значительной степени, литературными заработками, продажей своих произведений. Вспомним широко известное: «Не должно русских писателей судить как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) — из тщеславия». Или: «Да еще говорят: “Он богат, черт ему в деньгах”. Положим так, но я богат через мою торговлю стишками, а не прадедовскими вотчинами...» Да и то, Пушкин был скорее *литератором*, чем *поэтом*, потому что писал (и публиковал) недурную прозу и некоторое (хотя очень короткое) время даже функционировал как главный редактор журнала.

При этом Пушкин был профессионалом скорее по сути, чем по формальному статусу, хотя бы потому, что все-таки *служил* с 1817 по июль 1824 г. (покинул службу в 25 лет), а затем, по получении чина камер-юнкера, с конца 1833 г. до своей трагической смерти в январе 1837-го. Гоголь, кстати, тоже служил до 26 лет, как и небезвестный Булгарин (который из *русской* армии был уволен в чине поручика в 1811 г., 22-х лет, а затем служил в армии Наполеона, где получил чин капитана). Катенин служил до 27 лет, дослужился до полковника л.-гв. Преображенского полка, вышел в отставку, но в 30-х годах возвратился в армию и через пять лет службы вновь вышел в отставку, уже генерал-майором. Батюшков служил до тех пор, пока его, на четвертом десятке

<sup>15</sup> Небезвестный Фаддей Булгарин в одной из своих докладных записок в III Отделение в стилистике времени писал о «несчастном происшествии 14 декабря, в котором замешаны были некоторые люди, занимавшиеся словесностью» (Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 205).

<sup>16</sup> Арнольди А.И. Из записок // Литературное наследство. М.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 58. С. 476.

лет, не поразила душевная болезнь. Гнедич вообще служил на протяжении всей жизни, как и многие другие поэты и литераторы того времени.

Первые профессиональные поэты появляются несколько позже, но приходят они не из привилегированного сословия, а из среды разночинцев. Или из той части дворянства, которая выбрасывается, выдавливается в ряды разночинной интеллигенции. У разночинцев, социального слоя, возникающего в России лишь в середине XIX столетия<sup>17</sup>, хотя формирующегося, вероятно, с первых десятилетий века, приверженность к стихосложению — это эманация честолюбия, импульса к самоутверждению, самопозиционированию, проявление личностных и, следовательно, социальных амбиций. Но в то же время и социокультурный код, который дублирует аналогичный код привилегированного дворянского сословия, как бы подтверждая, что разночинная интеллигенция ничем не ниже и не хуже дворян.

Творческий элемент разночинного сословия рекрутируется, во-первых, из духовного сословия, для которого характерна определенная образованность, и, во-вторых, из некоторых элементов привилегированного дворянского сословия, которые выходили в отставку, переставали *служить* и желали и могли сосредоточиться на творческой, литературной работе.

Действительно, Белинский — внук священника, сын врача, Добролюбов — сын священника, Чернышевский — сын священника. В то же время Минаев, Плещеев, Курочкин Михаил Михайлов — отставные чиновники или военные, большинство из них вынуждено было зарабатывать на жизнь своим литературным трудом. В отличие от помещиков Огарева, Фета, Тургенева, Некрасова, всегда имевших материальную опору в виде доходов со своих имений. То есть были просто литераторы и, говоря языком уже упомянутого выше Булгарина, *литераторы с состоянием*<sup>18</sup>.

Разночинцы и неразрывно, генетически связанные с этим слоем революционные демократы образовывали весьма специфическую среду, где пересекались, сочетались, накладывались друг на друга социокультурные коды дворянского сословия и формирующейся революционной, в основном, разночинной по социальному составу, революционаристской субкультуры.

Слой разночинной интеллигенции дал немало литераторов, в том числе и поэтов, критически настроенных в отношении правящего режима и даже прямо включавшихся в революционную деятельность (напомним, что Чернышевский, М. Михайлов и кое-кто еще в итоге этой

деятельности оказались на каторге). Однако, примечательно, что в первом поколении разночинцев задают тон вовсе не поэты (сказывается, возможно, незнание с элитарными, дворянскими социокультурными кодами), а публицисты и критики: Белинский, Чернышевский, Добролюбов...

Однако в любом случае только с развитием, разрастанием разночинной интеллигенции в полной мере укореняется понимание литератора, поэта, беллетриста, редактора как профессии, а не как занятия единиц, которых можно пересчитать по пальцам.

Социокультурные трансформации в России обретают новую динамику в связи с реформами 60-х гг. XIX в. Согласно уставу 1864 г., открывались *классические гимназии* и *реальные гимназии*, преобразованные в 1872 г. в реальные училища. Собственно, именно в 60-е гг. фаза чрезвычайно медленного накопления социокультурных бонусов сменилась периодом развития весьма интенсивного, по сути, прорыва. В ходе реформ 60-х гг. XIX в. в России появляется современного типа среднее (школьное) образование, которое если не по содержанию, то по формам до сего дня (или, во всяком случае, до начала компьютерной эпохи) изменилось не столь уж существенно<sup>19</sup>.

Соответственно, изменились механизмы трансляции и ретрансляции социокультурных кодов: из закрытых внутрисословных они стали открытыми и общедоступными. Собственно, по большому счету, именно реформы 1860-х сделали возможным формирование своеобразного, наделенного своим взглядом на мир, слоя русской интеллигенции.

Иными словами, к последней четверти XIX в., с развитием в России системы народного образования, возникают и крепнут более доступные, универсальные и свободные механизмы приобщения к социокультурным кодам, которые незадолго до этого связывались почти исключительно с привилегированным сословием и существовали внутри него.

Первые стихотворные опыты будущих властителей России Сталина, Троцкого, Дзержинского и других отделены от реформ 60-х гг. лишь узкой исторической плоской толщиной примерно в три десятилетия<sup>20</sup>. Но эта генерация формировалась уже не столько в рамках разночинной интеллигенции или «просто интеллигенции», сколько в рамках специфической революционаристской среды, которая начала формироваться и обособляться примерно с середины XIX в.

Это была среда, постепенно становившаяся, в масштабах Российской империи, единой, универсальной,

<sup>17</sup> Я говорю о разночинцах, вкладывая в это понятие современный смысл, сформировавшийся сравнительно поздно, в XIX веке, а не тот, что был в XVII-XVIII вв.

<sup>18</sup> Видок Филярин. Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 205.

<sup>19</sup> Подробнее см.: Королев С.А. От «Апостола» до «Архипелага»: социокультурные трансформации в России // Филология и культура. 2010. № 1 (25). С. 37-51.

<sup>20</sup> Напомню, Сталин и Троцкий — ровесники, оба 1879 г. рождения, Дзержинский лишь двумя годами старше (род. в 1877 г.).

с тенденцией превращения в своего рода корпорацию, весьма узкую и замкнутую. Здесь были свои специфические нормы поведения и ценности, и прежние коды идентификации, в том числе и самоутверждение через стих, при посредстве поэтической *Музы*, уже не были и не могли быть востребованы. Профессиональные революционеры — специализация достаточно уникальная, как и профессия поэта.

И если, как справедливо было отмечено в одной из фундаментальных работ о литературной деятельности декабристов, для них «литература не была средством в их политической борьбе»<sup>21</sup>, то у революционных демократов дело обстояло существенно иначе. Здесь, в этой новой среде, стихосложение перестает быть социокультурным кодом или составляющей социокультурного кода *как занятие*, как *род деятельности*. Представление о коде радикально меняется. Новый код, код *социополитический*, образует уже не набор образцов поведения, а *совокупность смыслов*. Причем, это может быть совокупность смыслов, выраженная как в традиционной поэтической, так и любой иной («прозаической») форме.

Стихосложение из образца поведения, из социально одобряемого занятия, из социального кода трансформируется в *профессию* — у разночинцев. А у революционных демократов, позже просто революционеров, оно из социокультурного кода превращается в *социополитический* и с этой трансформацией обретает определенные утилитарные задачи. Что касается более поздней революционаристской субкультуры, то последняя целиком и полностью встала на рельсы утилитаризма, прагматизма (если не цинизма), совершенно освободившись от поэтической составляющей.

Но какая-то часть русской, а затем и советской интеллигенции восприняла социокультурный код, который еще в ранней юности осваивали — а потом отринули — Сталин и Троцкий. Это код уцелел в жестокие и непредсказуемые тоталитарные годы, когда доминировала единственно верная идеология, — и возродился в полной мере после Сталина.

Мы говорим здесь и о массовом поэтическом самодеятельном творчестве, реализовавшемся в огромном количестве поэтических студий при заводах, клубах, Дворцах культуры, библиотеках, и об абсолютно новом феномене авторской песни, которая стала одним важнейших социокультурных кодов, сравнимых по значению со стихосложением середины XIX в.

Причем внутри этого тренда оказались и некоторые люди, которые достаточно далеко продвинулись по этажам власти. Речь уже не о когорте вождей, хотя некоторых из

этого ряда можно охарактеризовать как очень крупных руководителей. Скорее, следует говорить о своего рода советских *разночинцах*, разночинцах по социокультурному генезису и ценностям, независимо даже от того, насколько высоко им удалось забраться по чиновной лестнице. Разночинцы — в отличие от *элиты*, людей власти и людей *около* людей у власти, в основном, профессиональных партийных работников. Но очень и очень успешные разночинцы.

Среди них мы обнаружим немало людей, охваченных манией стихосложения и даже, что совсем уж удивительно, вполне профессиональных (с точки зрения уровня) поэтов. Самые известные фамилии здесь — не так давно ушедший из жизни Евгений Сабуров (высшая точка карьеры — зампред Совмина России и министр экономики в 1991 г.), Евгений Примаков, председатель одной из палат Верховного Совета СССР, министр иностранных дел, затем премьер-министр и шеф внешней разведки, и Сергей Лавров, еще один министр иностранных дел, сочиняющий стихи и исполняющий их под гитару. Хотя неплохим поэтом был и уже упомянутый вскользь Анатолий Ковалев. Знаменитый композитор Раймонд Паулс вспоминал, что известных российских политиков он был в очень хороших отношениях с первым замом Шеварднадзе Анатолием Ковалевым: тот писал стихи, а Паулс — музыку к ним<sup>22</sup>. Наконец, есть Алексей Улюкаев, некогда заместитель министра финансов, ныне — зампред Центробанка РФ, автор нескольких поэтических сборников, в один прекрасный день даже появившийся в весьма элитарной (в смысле отбора персонажей) телепрограмме «Школа злословия» и именно в качестве поэта, не финансиста.

Хотя, если посмотреть объективно, единственным профессионального уровня поэтом среди них был Сабуров, публиковавшийся в «Новом мире» и «Знамени». И он в полной мере был все-таки порождением советской послесталинской социокультурной (да и социально-политической) ситуации в целом. Когда вместо героев, ищущих случая пожертвовать своей жизнью ради родины и великой цели, появились «физики» и «лирики», спорящие о ценностях, а не об идеях, появились странные рефлектирующие субъекты и девушки, не сводящие с этих субъектов обожающих глаз. Когда гремела молодая поэтическая волна, которую принято связывать с именами Еvtушенко, Ахмадулиной, Вознесенского, Рождественского, но которая, конечно, этими громкими именами не исчерпывалась. И тот же Сабуров был не *человек власти*, а человек из советского НИИ, проработавший на этой ниве более двадцати лет. Да и высшая точка его карьеры пришлась на излет советского периода и краткий переходный миг между советским и антисоветским, «после Павлова», но «до Гайдара». Хотя подавляющее большинство его литературных публикаций

<sup>21</sup> Архипова А.В. Литературное дело декабристов. Л.: Наука, 1987. С. 9.

<sup>22</sup> Независимая газета, прил. «Фигуры и лица». 1999. № 9. С. 15.

пришлось на постсоветский период. И, наконец, случай, говоря по-нынешнему, кейс Лукьянова, который нуждается в особо тщательном анализе.

### *Сон во сне*

Сентиментальность тиранов и чувствительность диктаторов — это доступная им форма проявления *человеческого*; определенные элементы нормальной человеческой природы сохраняются и в самой деформированной, поставившей себя выше человеческих законов личности.

Подобного рода чувствительность проявляется в пространстве истории различным образом, в зависимости от эпохи, нравов и региональной и национальной специфики; в России во времена оные считалась, например, актом милости и человеколюбия замена лютой, изощренной казни на простой и незамысловатый способ умерщвления приговоренного. В XX в. изумление современников вызывали любовь главарей фашистского рейха к собакам и теплота, с которой Сталин говорил о многих из убитых им людей. Даже деятелям, оставшимся в истории как гении бесчеловечности, необходим некий суррогат «человеческого» вживляемый в их внутренние психологические структуры. Так что совсем не случайно на стенах комнат кунцевской дачи Сталина в последние годы жизни диктатора были развешаны вырезанные из журналов картинки, изображающие мальчика на лыжах, девочку, которая поит козленка молоком из рожка, детишек под вишней и тому подобная слащавая атрибутика<sup>23</sup>.

В эпоху Брежнева «поэзия власти» пережила своего рода второе рождение, выход из забвения — прежде всего за счет втягивания во власть, наряду с не сильно интеллектуальными функционерами поздней и весьма неромантической сталинской системы относительно образованных элементов. Но стихосложение не стало для *людей-у-власти* чем-то большим, нежели изящное дополнение к необременительному образу жизни высшей партийной номенклатуры. Думаю, для Леонида Ильича стихосложение было не более чем одной из маленьких радостей жизни, подобно дорогому иностранному автомобилю, удачному выстрелу на охоте, пяти звездам Героя на груди или благосклонности черноглазой и чернобровой красавицы.

Эта власть существовала с ощущением собственной сверхполноценности и совсем не ощущала своего плавного погружения в мир иррациональный и сюрреалистический. Люди, причастные к этой власти, за редким исключением, очевидно, не чувствовали потребности подтверждать свой социальный (и индивидуальный) статус посредством стихотворных экзерсисов. И это было отчасти небезосновательное самоощущение самой сытой и стабильной власти за все послеоктябрьские десятилетия.

Не сомневаюсь, что выход (под псевдонимом) первой небольшой книжки стихов значил для А.И. Лукьянова неизмеримо больше, чем Ленинская премия (по литературе!) для Леонида Ильича, да что там говорить, — дюжина подобных премий, если бы Леониду Ильичу суждено было бы получить их.

И дело здесь не только в том, что стихи поэта Осенева — едва ли не единственное в феномене «поэзии власти», о чем можно говорить серьезно, как о поэзии, а не о капустнике, и не в том, насколько они профессиональны, а в том, что в них ощущается работа души, страсть к самоутверждению, внутреннее напряжение, не идущие ни в какое сравнение с той холодной уверенностью, порой переходившей в снисходительное небрежение, с которыми А.И. Лукьянов вел заседания Верховного Совета СССР.

И вот это уже нуждается в объяснении — если можно вообще объяснить ту значимость стихотворного текста для его автора, значимость, которая проступает за тем внутренним напряжением, о котором я уже говорил. (Здесь, повторяю, я не касаюсь качества поэтического материала; речь идет лишь о затратах души, которые породили тот или иной текст, о внутренней работе и признании ее — осознанно или неосознанно — личностным приоритетом именно в силу факта и специфики этой работы.) Ведь речь идет об известном всей стране человеке с жестким, отнюдь не одухотворенным лицом, на котором в самых критических ситуациях умевшем владеть собой, о человеке со стальными нервами и, очевидно, неслабой волей, наделенном выдержкой и холодным расчетом и, если судить по его политической карьере, свободном от угрызений совести. Человеке, доказавшим свою способность управлять парламентом, как извозчик лошадь, совершенно абстрагируясь от того, как он при этом выглядит на экране телевизора и что о нем думает наш брат телезритель. Наконец, о человеке, который, написав «Бог в помощь вам, друзья мои» и «Хочу с друзьями говорить и в дружбу верить...», предал своего многолетнего друга и патрона, своего президента, — во всяком случае, так ощущали эту ситуацию многие и, судя по некоторым интервью, и сам М.С. Горбачев. Наконец, мы говорим о человеке, оперировавшем в кресле председателя парламента удручающими формулами партийного новояза и время от времени дарившем нам неподражаемые фразеологизмы типа: «Кончил, не кончил — на все три минуты...»

У меня не поднимается рука обвинить А.И. Лукьянова в том, что свои партийные и государственные обязанности он выполнял спустя рукава, рассматривал их как нечто второстепенное в жизни. Однако, похоже, что в этой жизненной сфере автор «Созвездия» и «Стихов из тюрьмы» шел как бы на автопилоте, а творчество выступает у него как способ внутренней легитимации

<sup>23</sup> Алиллуева С. Двадцать писем другу. М.: Книга, 1989. С. 11.

личности, как один из ключевых смыслов человеческого существования. Этот смысл обретается в совершенно иной, не связанной с политической сферой, и власть таким образом утрачивает абсолютную самоценность.

Налицо потребность во внутренней, психологической компенсации занятий по управлению партией и государством, чего не было и быть не могло у Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова.

Совершенно очевидно, что власть, которая способна порождать подобное к себе отношение *человека-у-власти*, — это уже не та власть, что прежде: обаяние ее, прежде столь неотразимое, истаяло, мускулы истончились и одрябли.

Подобное одряхление некогда абсолютной в своем воздействии на людей тоталитарной власти проявляется, кстати, весьма многообразно: повальная погоня за учеными степенями и академическими званиями людей из высших эшелонов власти, начавшаяся в послехрущевский период, тому лишнее свидетельство.

Парадокс ситуации заключается, однако, в том, что в данном случае то, что я называю внутренней легитимацией личности, обретением новых личностных смыслов, может быть достигнуто только через внешнее признание; потому-то и недостаточно просто взгромоздиться на стул и благодетельствовать разгулявшуюся компанию, блеснув заранее (и в меру способностей) заготовленным «каламбуром».

Однако надежды, как это ни банально звучит, вступают в противоречие с реальностью, и все хорошо знают, что обычно берет верх в подобной коллизии.

Государственный деятель до начала 90-х твердит о необходимости укреплять единство КПСС, а в решающий для государства и его партии момент, кажется, решает выждать, кто выиграет, и присоединиться к победителям — но присоединяется к проигравшим, и к тому же в «Матросской тишине»... А поэт... Поэт (чей псевдоним, очевидно, не без участия автора, оказывается расшифрованным еще до выхода первой книжки) становится объектом злых насмешек и иронии. И дело не в совершенстве или несовершенстве стихотворных текстов, не в избытке эпитетов, лежащих, как говорится, на поверхности («бессмертный Пушкин», «чеканный стих»), приевшихся всем идеологом (вроде «джазовой погребушки» — вот уж чего никогда бы не написал Андропов! — или искателей, спешащих «тряпья купить»), и не в некоторой прямолинейности мышления автора (что в поэзии особенно заметно, поскольку сразу придает ей налет пафоса и декларативности), и даже не в том, что в словах «Осторожней со словом “Россия”, стихотворец, певец, трибун!» угадывается интонация знаменитого: «Поосторожней на поворотах, Анатолий Александрович!». Нет, стихи Осенева-Лукьянова не хуже, а может быть, лучше стихов многих вполне профессиональных поэтов, живущих своим ремеслом и официально

зарегистрированных в соответствующей писательской организации; есть и удачные строки, и очень удачные.

Все это механизмы общественного мнения как бы выводят за скобки; все это общественному мнению совершенно неинтересно.

Суть же дела скорее всего заключается в том, что в этой изнасилованной властью стране человек от власти не может быть признан поэтом по определению. Волею судьбы поставленный в эпицентр власти, поэт жаждет обрести внутренний смысл существования и робко, но настойчиво апеллирует к обществу; последнее же видит в нем лишь фигуру лишенной всякой духовной легитимации власти, и в силу этого лишает легитимности всю духовную (в том числе и литературную) продукцию, исходящую *от* и *из* власти. И лишь когда поэт осознает, что «священная жертва» Аполлону — это не жертва немногих не заполненных государственными делами вечеров, а жертва если не всего, то главного, и перережет пуповину, связывающую его с властью, только тогда «сон во сне» (метафора, заимствованная мною у В. Набокова) станет вещим.

Личностная самореализация — и социокультурный код узнавания. Грань между ними — условная. Но она есть — ни для кого из прочих *людей-у-власти*, рискну, утверждать, поэзия не была столь важной личностной ценностью, как для А.И. Лукьянова.

### *Раздвоение власти и раздвоение души*

Власть — как развратная матрона на троне. Есть власть обладаемая или как бы обладаемая, потому что обладание это часто иллюзорно. И есть власть обладающая — амбициозными обладателями власти в том числе.

Иными словами, существуют технологии власти, которые, подобно силовым линиям, пронизывают общество; вдоль этих линий вынуждены выстраиваться все, не исключая и тех, кто может быть назван *людьми-у-власти*. Результат воздействия этих обезличенных властных технологий — и страх обывателя, и инерция мышления ученого, и самоцензура поэта. Технологии власти настигают человека в любой точке его существования, разжижаясь в сфере, которую человеку удастся сделать сферой своей частной жизни, и сгущаясь по мере приближения к институтам, самое предназначение которых быть средоточием технологий власти: школе, работе, больнице, армии, тюрьме...

Разумеется, и в тюрьме. Мы отметили необычность того, что А.И. Лукьянов написал в тюрьме цикл стихов, составивший его далеко не худшую книжку. Следует отметить и неслучайность этого обстоятельства. Вспомним — Мигель Сервантес де Сааведра начал в тюрьме работу над первой книгой «Дон Кихота», маркиз де Сад написал в тюрьме «Жюстину», Чернышевский — «Что делать?», Ленин — «Развитие капитализма в России», Грамши — «Тюремные

тетради». А.И. Лукьянов написал в тюрьме столько, что этого хватило на поэтический сборник. Сборник, лишь названием напоминающий труд знаменитого итальянского марксиста, но немислимо далекий от всякой теоретизации.

Тюрьма — наиболее очевидный, классический пункт приложения технологий власти, их пересечения с человеческим «Я». И это совмещение, это совпадение столь же курьезно (разумеется, в масштабах истории, а не в масштабах человеческой жизни), сколь и симптоматично. Противоречие креативного начала человеческой души (творчество, поэзия) и реактивного, деструктивного начала (авторитаризм, власть) вносится в ситуацию, где оно обретает видимые, внешние формы и становится как бы частью драмы, разыгрываемой публично на подмостках истории. И если «Стихи из тюрьмы» не есть симптом возрождения большевистской и даже добольшевистской романтической традиции, традиции самоотречения, фанатизма и мученичества, и не интеллектуальная эманация человека, не мыслящего себя вне «хождения во власть» и пребывания в этой власти, а знак чего-то абсолютно противоположного (назовем это *исходом* из власти), то они означают преодоление душевной раздвоенности автора и своеобразно замыкают цикл развития и умирания «поэзии власти», начатый беспощадными к себе и к другим революционными романтиками на заре нынешнего века.

Для человека-от-власти тюрьма, уж если его привела туда судьба, — это некое чистилище, место, где он осмысливает и переосмысливает базовые жизненные ценности, делает какой-то выбор...

Итак, что такое поэзия власти? Это, во-первых, поэзия людей-во-власти или людей-из-власти, о чем мы много и подробно говорили выше.

Во-вторых, это некий дух власти, *spirit*, некое звучание власти, *sound*, и некий пафос власти, метафорическая констатация того, что в движении к власти, в ее захвате, формировании, отправлении есть нечто поэтическое, романтическое, сопоставимое и соотносимое с поэтическими творчеством или поэзией как жанром и образом жизни.

И, наконец, в-третьих, это некий *слой* или *тип* поэзии, который востребуется властью в соответствии с тем, каков пафос, каков дух самой власти.

Власть востребует или продуцирует определенного рода поэтическую ткань. Очевидно, на каждом витке властной спирали эта «поэзия власти» разная.

Власть революционная, обуреваемая пафосом перемен и разрушения старого мира, востребует соответствующие поэзы. Это может быть нечто создаваемое совершенно спонтанно, как «Двенадцать» Блока, когда поэт выступает в роли медиума, прозревающего будущее и концентрирующего в стихе его посылы. Это может быть сознательное служение, как у Маяковского: «Кто там шагает правой?левой, левой, левой!» Или: «В

комнате двое, я и Ленин...» И это может быть рутинный политический заказ, что-то типа Демьяна Бедного.

Но революции когда-то заканчиваются, власть костенеет, и востребованными становятся гимны державности, величию, порядку, стабильности. «Поэзия власти» становится иной — как иной становится сама власть.

Кейс А.И. Лукьянова наводит на мысль, что именно с *исходом* из власти оказывается связанным превращение индивида, некогда человека-во-власти, в поэта и что этот *исход* означает также преодоление некоей душевной раздвоенности фигуранта. Но этот кейс косвенно свидетельствует также о том, что и с самой властью творится нечто из ряда вон выходящее. А именно, *исход* этой власти из живой, современной Истории, она, власть, становится нежизнеспособной, мертвой.

А когда власть — я имею в виду тот или иной *тип* власти, потому что власть как таковая, власть как *отношение* вечна, — так вот, когда эта власть становится мертвой, когда, говоря словами Киплинга, змея переживает свой яд, когда ткани власти омертвляются и атрофируются, «поэзия власти» умирает. Причем умирает во всех трех смыслах.

### *Она умирает, или Средство от невроза*

Она действительно умирает. Постсоветская власть и воплощающие ее люди-у-власти самоутверждаются, «самолегитимируются» по-разному: ощущением власти и свободы социального действия, как в позитивном, так и в негативном его понимании, богатством и сверхбогатством, реализованными и нереализованными амбициями. Возможностью замахнуться на решение колоссального масштаба задач, наконец. Действительно, Гайдар — тонкий ценитель поэзии, многое здесь знающий и понимающий (об этом рассказывает работавший с ним А. Улюкаев), но сам он не писал, и, похоже, такого импульса у него не было, несмотря на творческие, писательские гены. О прочих и говорить нечего. Ельцин играет в теннис, Черномырдин играет на гармонии, Путин на татами выполняет заднюю подсечку и скатывается со склона на горных лыжах, Медведев не расстается с айфоном, фотографирует, встречается с рок-музыкантами и тоже скатывается со склона.

Нет не только импульса к творчеству — даже стремления к приобщению к чужому творчеству, к преклонению перед ним, к простейшей самоидентификации себя с другими, великими.

Единственное поэтическое событие ельцинской эпохи, имеющее отношение к власти, минутный возврат к поэзии как творчеству и как к символу: помощник президента (или, не помню, может быть, уже вице-премьер) Илюшин читает на два голоса вместе с тяжело больным, практически стоящим на краю могилы Зиновием Гердтом «Быть знаменитым некрасиво» Пастернака и, по случаю

80-летия, вручает ему орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Впрочем, нет, не единственное: в 1996 г. Ельцин подписывает предисловие к 18-му тому Полного академического собрания сочинений Пушкина, но это выглядит уже как явная пародия.

Если же мы вознамеримся определить поэтическое событие «нулевых», имеющее отношение к проблематике нашего скромного исследования, то это, конечно, будет Путин, цитирующий в Лужниках Лермонтова: «Умрем же под Москвой, как наши братья умирали. . .» И он же, в ночь мартовской победы 2012 г., декламирующий несколько скорректированного Есенина: «Если скажет рать святая: “Брось ты Русь, живи в раю!” Я скажу: “Не надо рая, дайте родину мою”». Все это производит впечатление некоторой искусственности, излишней пафосности и трудно монтируется с привычным образом данного политического индивида. Это скорее имитация, подчеркивающая неорганичность и ненужность поэзии для этого типа власти.

В какой-то момент, еще в первом постсоветском десятилетии, оказывается даже, что профессия поэта перестает быть *профессией*: поэт не в состоянии прожить стихами и даже, как это ранее бывало, сумой чисто литературных и смежных околотитературных заработков, вроде переводов или платных рецензий на «самотек», поступающий в литературные журналы и издательства. Он должен сидеть в редакции, писать заметки и рецензии, редактировать, отвечать на телефонные звонки и получать за это зарплату.

Народ перестает покупать поэтические сборники, соответственно, издательства перестают издавать их. И — после определенной паузы, когда поэзия, так сказать, выбирает свой дальнейший путь, — сферой реализации и самоутверждения поэтов и всех, пишущих стихи, все более становится Интернет. При этом всемирная Сеть уравнивает профессионального поэта, не имеющего достаточно громкого имени, чтобы издаваться на бумаге, и абсолютного графомана. И тот, и другой получают возможность свободно, без цензуры и редактуры выплескивать результаты своего творчества в окружающий мир.

Поэзию подминает под себя, поглощает мир *гламура*. Главным поэтом страны становится Илья Резник.

Феномен гламура возникает в социуме, где богатство и известность взаимообусловлены. Чего, например, не было в советской системе, где знаменитости, от дикторов Центрального телевидения до космонавтов, могли в материальном отношении жить весьма скромно.

В гламуре статус знаменитости конвертируется в богатство, слава — в деньги, и наоборот. Пропуском в мир гламура и условием пребывания в нем являются богатство, известность и публичность существования. Утрата тем или иным гламурным индивидом качества публичности (например, в случае отлучения того или иного фигуранта от телевидения) порой просто вычеркивает его из привычной ему среды.

Поэзия может стать входным билетом в этот мир, как и успех в любой другой области, — но не кодом общения внутри него.

И этот гламурный слой сосуществует со старым культурным слоем, восприимчивыми русской разночинной интеллигенции, — учителями, врачами, преподавателями вузов, редакторами издательств, основной массой журналистов (тех, которые не стали звездами и никогда ими не станут) библиотекарями, музейными работниками. Интеллигенция в современной России — это не богатые, не знаменитые, не публичные, как люди гламурного мира, а практически безвестные, борющиеся за выживание, но при этом существующие в *культуре*.

Между тем власть перестает быть романтической. Все романтики оказываются маргиналами и в течение одного — полутора десятилетий оттесняются на обочину нового прекрасного мира.

Знание Мережковского или Пастернака не является более инструментом самоутверждения в высших сферах. Им является формальный и неформальный статус, владение пакетами акций, близость к нацидери, наконец. И хотя Сурков и Джахан Поллыева пишут слова для рок- и поп-композиций: «Опяяаять. . . метееееель. . .» — и, казалось бы, фактологический ряд сопоставим с фактурой предыдущих десятилетий, но это иллюзия — общественная ситуация изменилась. То, что ранее было социокультурным кодом, им быть перестало. Все эти «метееееели» становятся эманацией мира гламура, а не обнаружениями духовных, интеллектуальных усилий.

Есть и другой аспект проблемы, не имеющий прямого отношения к гламуризации стихосложения и лежащий совсем в другой плоскости. Мой коллега по Институту философии РАН профессор П.С. Гуревич очень точно заметил, что поэзия сегодня стала в высших сферах своеобразной *компенсацией за жизнь в неврозе*. Своего рода способом выхода из невротизации (или ограничения ее пределов и интенсивности), инструментом автотерапии.

Действительно, что такое невроз? И.П. Павлов определял невроз как хроническое длительное нарушение высшей нервной деятельности, вызванное перенапряжением нервных процессов в коре больших полушарий головного мозга под действием неадекватных по силе и длительности внешних раздражителей. Психогенным фактором здесь являются конфликты (внешние или внутренние), действие обстоятельств, вызывающих психологическую травму, либо длительное перенапряжение эмоциональной и/или интеллектуальной сфер психики (Википедия<sup>24</sup>).

Попробуем задуматься — а что же такого специфически антиневротического в поэзии? В отличие от спорта, употребления крепких напитков, секса, коллекционирования

<sup>24</sup> См.: Невроз // Википедия / <http://ru.wikipedia.org/wiki/Невроз>

почтовых марок и прочая, и прочая? Предположу, что стихосложение некоторым образом успокаивает, умиротворяет и упорядочивает сознание. Стихи — это ритм и рифма, а рифмованные смыслы — это своеобразный способ упорядочивания реальности. Это своего рода матрица, каркас. Слова и стоящие за ними смыслы обретают свое прочное, не подверженное изменениям, смещениям, вариациям место.

Иными словами, некоторые политические небожители страдают пороком, диаметрально противоположным пороку Штирлица, которому, как известно, была свойственна идиосинкразия к рифме, — *манией рифмования*.

То есть стихосложение — это не только эманация романтического сознания, в потенции толкающего индивида к потрясению основ и революционаризму, но и *упорядочивание*. Не зря же школьников заставляют учить стихи наизусть и декламировать на уроке. Классическая дисциплинарная процедура, которая по сути своей сродни армейской муштре.

Я уже писал в другом месте и по другому поводу, что «нулевые» в России стали временем ревитализации не вполне адекватных современному миру и сформированному этим миром гражданскому обществу дисциплинарных технологий<sup>25</sup>. В этом смысле превращение поэзии в инструмент дисциплинирования и самодисциплинирования власти, а точнее, микрочастиц, «составляющих» этого коллективного субъекта дисциплинарных практик, — вполне в духе времени и порожденного им тренда. При условии, разумеется, что мы воспринимаем дисциплинарные техники как инструмент противодействия тотальной невротизации.

Так или иначе, 90-е и «нулевые» в России стали временем, когда поэзия перестала быть как социокультурным кодом, обладающим всеобщей значимостью и качеством универсальности, так и средством самовыражения, самореализации *людей-у-власти*. Возникшая в России на рубеже XX-XXI вв. власть в состоянии обойтись без поэзии.

### Список литературы:

1. Алиллуева С. Двадцать писем другу. М.: Книга, 1989.
2. Архипова А.В. Литературное дело декабристов. Л.: Наука, 1987.
3. Королев С.А. От «Апостола» до «Архипелага»: социокультурные трансформации в России // Философия и культура. 2010. № 1 (25). С. 37-51.
4. Лукьянов А. Стихи из тюрьмы. М.: Палея, 1992.
5. Печенев В.А. Горбачев: к вершинам власти. М.: Господин народ; Феномен человека, 1991.
6. Сталин И.В. Стихотворения (1895–1896 годы) // Сталин И.В. Сочинения. Т. 17. Тверь: Научно-издательская компания «Северная корона», 2004.
7. Троцкий Л. Моя жизнь. М.: Панорама, 1991.
8. Шахназаров Г.Х. С вождами и без них. М.: Вагриус, 2001.

### References (transliteration):

1. Alillueva S. Dvadsat' pisem drugu. M.: Kniga, 1989.
2. Arkhipova A.V. Literaturnoe delo dekabristov. L.: Nauka, 1987.
3. Korolev S.A. Ot «Apostola» do «Arhipelaga»: sotsiokul'turnye transformatsii v Rossii // Filosofiya i kul'tura. 2010. № 1 (25). S. 37-51.
4. Luk'yanov A. Stikhi iz tyur'my. M.: Paleya, 1992.
5. Pechenev V.A. Gorbachev: k vershinam vlasti. M.: Gospodin narod; Fenomen cheloveka, 1991.
6. Stalin I.V. Stikhotvoreniya (1895–1896 gody) // Stalin I.V. Cochineniya. T. 17. Tver': Nauchno-izdatel'skaya kompaniya «Severnaya korona», 2004.
7. Trotskiy L. Moya zhizn'. M.: Panorama, 1991.
8. Shakhnazarov G.Kh. S vozhdymi i bez nikh. M.: Vagrius, 2001.

<sup>25</sup> Подробнее см.: Королев С.А. Соблазн дисциплины // Индекс / Досье на цензуру, 29/2008; Королев С.А. Дисциплинарные технологии в современной России // Индекс / Досье на цензуру, 30/2009.